



АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им А.М.ГОРЬКОГО

А. И. ГЕРЦЕН

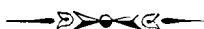


СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА • 1959

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им А.М ГОРЬКОГО

А. И. ГЕРЦЕН



ТОМ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
СТАТЬИ ИЗ «КОЛОКОЛА»
И ДРУГИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1864-1865 ГОДОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА • 1959

СТАТЬИ ИЗ «КОЛОКОЛА»
И ДРУГИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1864-1865 ГОДОВ

1864

1864

«Пять лет мы без устали *сзывали живых*.
Теперь, благо мертвые ушли и никто от
мертвых не остался, будем звонить к самой
обедне, звать к сознательному делу!» *

«Колокол» 15 декабря 1863.

...И это середь мрачной ночи, из которой Россия не выходила, середь общего оподленья, измены вчерашних друзей, распутства мысли, бесстыдства слова, при виде целого общества, лобызającego руки палачам, целой литературы духовно-светских доносов...

Да, середь этой ночи мы начинаем наш новый звон, внутренний голос говорит нам, что *ночь переломилась* и что теперь каждый размах маятника — шаг к выходу из нее.

Слишком рано радовались казенные враги наши — нашему отчаянию. Их слизистое сердце не могло понять ни жгучей скорби, которую мы вынесли, ни того, что мы выйдем из нее. Мы и не думали скрывать ни нашей боли, ни нашего стыда, ни наших слез. Многие умерло возле нас; но мы возвращаемся с кладбища упорнее и неисправимее, чем когда-нибудь; мы не только не утратили прежнюю веру, а удесятирили ее всеми лишениями, очищениями, всем вынесенным горем, всей чудовищной силой того гниения, которое грозит сгубить всходы — а кончит удобрением почвы.

Тот, кто не чует этого, кому не ясно, что наше *общее дело* продолжается под землей, продолжается в воздухе, продолжается середь оргии крови и раболепия, для того слова наши, как для полицейского содержателя публичного листа в Москве*, будут «бредом помешанных».

Но есть другие люди, их голос доходит до нас, они поймут наши упования. Наши слова ободрят их так, как их слова ободряли нас.

— Да много ли их?

— *Нет, не много*, по крайней мере сколько мы знаем, особенно с тех пор, как слабые, шаткие, мелкие, робкие ушли, одни от испуга, другие по глупости; оставшиеся тем меньше заметны, что они должны молчать под тройным надзором — явной, тайной и литературной полиции.

Много веры, много преданности, много *истины* надобно, а число голов придет. Это не рекрутство и не подушный сбор. В пещерах слабые числом христиане росли в силу, в подземных ходах спланивались они в те несокрушимые общины *святых безумцев**, с которыми не могло совладать ни дикое варварство одного мира, ни маститая цивилизация другого. И это несмотря на то, что они шли на прямое ниспровержение всякого государственного строя и искали не исполнения судеб, приготовленных целым развитием, а замену их судьбами новыми, небывалыми и вообще неосуществимыми.

Русская задача вовсе не так колоссальна, она гораздо проще, соизмеримее, это задача не другого мира, а *мира сего*, и потому в ней вера не противуречит логике, совсем напротив. Никто не хочет у нас ломать ничего народного, основного, никто — ничего создавать по отвлеченному идеалу, все это старая консервативная болтовня. Хотят устранить препятствия, снять ненужные преграды, хотят развязать руки, развязать мысль, отрицают *собственно отрицательное*, мешающее, искажающее, гнетущее, полумертвое. Хотят дать волю народному складу и мысли, искусившейся опытом других. Все это вовсе не утопия; элементы, основания у нас даны: *на род н ы й русск и й быт и наука За па да*, в их сочетании наша сила, наша будущность, наше преимущество. Без предрасположенного народного быта общественная наука теряется в социальном бреде, без всеобобщающей науки народный русский быт возводится в бред славянофильства¹.

¹ А славянофильство может идти об руку с немецким императорством, именно потому, что для него не дорога *воля*, что для него есть сокровища дороже ее, например, в ужас приводящее своей силой Московское государство.

Народный быт и наука — Земля и Воля. Что может быть проще и яснее? Но до этой простоты и ясности мы доходим вековыми страданиями нашего народа и вековыми усилиями западной истории. Перед нами светло и дорога пряма. Европейские народы искали в темноте своего пути, сбивались с него, обливали его кровью и постоянно встречали врага, останавливавшего всякое стремление и лишавшего плодородия всякий посев. Перед нами тоже *сильный враг*, но *умного* врага нет; против нас борется не великое предание, не относительная правда, не веками освященные предрассудки, а палисады без корней, стены под гранит, империя «фасад»*, империя с иглолочки, иностранная и до того бессмысленная, что ей нужен Катков, чтоб объяснить ей самой, что ей надобно отстаивать и что беречь. Против нас *овдовевшее* дворянство, крепостники, не умевшие ни отстоять рабовладение, ни поступиться им. Ненавидимое народом, не уважаемое правительством, оно чувствует свое бессилие, заискивает милости, подличая перед палачами и оплакивая плачем Рогнеды в «Московских ведомостях» утрату «материка» рабства и грабежа... Нам ли унывать с такими врагами?

Не так поставлены задачи будущего у других народов. На днях два ветерана, два уважаемых всей Англией бойца слегка, издали коснулись одного вопроса в Рочделе, едва намекнули, где зло, — как настороживший уши цербер капитала и монополии поднял сторожевой лай*, и все испугалось, оцепенело, отрелось... Правда, Кобден ударил, и больно ударил, цербера, но не в основном вопросе.

Что же за ужас сказал старик Кобден, этот испытанный вождь торговой свободы, этот атлет, вынесший на своих плечах тридцать лет тому назад *Corn law*?*

И что за страшную Медузу показал ему, Брайту, Англии «Теймс»?

Кобден и Брайт догадались наконец, что *воля без земли* — нелепость и что для английского пролетария-работника нет

Оттого честные, но сбитые умы жалеют о том, что у правительства нет людей. Как же они не понимают, что у него не могут быть люди, *не должны быть*, что уничтожение взяточничества и пр. прежде уничтожения правительственного своеволия — величайшее бедствие, которое может постигнуть Россию.

ни воли, ни конституции так, как ему нет голоса, ни представительства. Они заметили и, главное, дерзнули намекнуть на митинге, составленном не из аристократов мещанства, что у английского работника не только нет воли, но нет и выхода, потому что законы, делаемые собственниками, скорее стремятся сосредоточивать большие поземельные собственности в одних руках, чем их раздроблять и способствовать к приобретению их работниками.

— Так вы указываете на антагонизм собственников и работников, сказал «Теймс», бледный от злобы, да вы не хотите ли *аграрных* законов?

И все отпрянуло с ужасом от Кобдена и Брайта — и Кобден, не дожидаясь петушьего крика, стал защищаться в том, что он невинен в *agrarian outrage*...¹

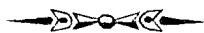
У нас ничего подобного. У нас консервативная партия — такая же нелепость без корней, как табель о рангах, как дворянская грамота. Сегодня сила — завтра следа нет. Наш настоящий консерватизм начинается там, где оканчивается правительство.

Нас не застрашает Медузиной головой, какие бы змеи у нее ни были вместо кудрей. То, что *может* у нас погибнуть, того нам не жаль... Пусть рухнет эта империя, выработавшая свой тип в Аракчееве, пусть пойдет по миру дворянство, отбивавшее два века кусок хлеба у народа, пусть пропадет, наконец, это мишурное образование, ложное, безнравственное, умевшее прежде ужиться с крепостным правом, а теперь с палачами и доносчиками... Народ русский не погибнет ни с петербургской династией, ни с Английским клубом в Москве... не нужно ему хранить школы, из которых учителя-рабы посылают адреса Бергу и Муравьеву.

На этом глубоком сознании нашей свободы и соответствии наших стремлений с бытом народным незыблемо основана наша вера, наша надежда. И вот почему, середь скорби и негодования, мы далеки от отчаяния и протягиваем вам, друзья, нашу руку на общий труд и зовем нашим звоном к *делу и борьбе!*

26/14 декабря 1863.

¹ оскорблении аграриев (англ.). — Ред.



П. А. МАРТЬЯНОВ И ЗЕМСКИЙ ЦАРЬ

Мартьянов приговорен на ссылку в каторжную работу на пять лет, и потом на пожизненное поселение в Сибири. Этот варварский приговор, утвержденный государем, сенат и совет мотивировали так: «Признав его — по собственному сознанию, подтверждаемому и обстоятельствами дела, виновным в сочинении и распространении, чрез напечатание в „Колоколе“, письма к государю императору, заключающего в себе дерзостное порицание установленного в России порядка управления»* и пр.

Ссылка Мартьянова в каторжную работу — новое доказательство бестактности, узкости и просто тупости петербургского правительства. Если кто-нибудь заслужил от диких судей, толкующих теперь о патриотизме и демократической империи, иного суда, то это, без сомнения, Мартьянов.

Мы знали П. А. Мартьянова. История его коротка, чисто русская история. Мартьянов родился крепостным человеком графа Гурьева. С молодых лет он показал необыкновенную способность к торговым делам и вел большой хлебный промысел. Граф Гурьев, оторвав его от дела, разорил, т. е. взял с него большую сумму денег, почти накануне освобождения. Мартьянов, получив отпускную, попытался поправить свои дела, ему не удалось, и он года два тому назад уехал в чужие края.

Человек, испытанный всеми горями и бедствиями русской жизни, одаренный необыкновенным умом, энергический, глубоко страстный, Мартьянов сосредоточился весь на вопросе о судьбах русского народа; тут была его поэзия, его религия, любовь и ненависть. Строгий по жизни, без уступок себе и другим, без слабых непоследовательностей — в нем элемент

негодующего Спартак как-то сочетался с угрюмым типом нашего сектатора. Много читая, Мартьянов нисколько не утратил ни своей собственной оригинальности, ни чисто русского народного склада ума. В одну беседу с ним можно было глубже заглянуть в дух русского народа, чем изучая ворохи анатомико-патриотических препаратов, приготовляемых нашими славянофилами.

В мнениях Мартьянова была та оконченность, которую мы встречаем в глубоко религиозных людях, которой мы не раз дивились в Петре Васильевиче Киреевском. Тут нет больше колебаний, сомнений.

Мартьянов ненавидел крепостное право и крепостников, — ненавидел, как Михаил Семенович Щепкин, как Шевченко; но у него это была страсть, и между тем она шла рядом с восторженной благодарностью к царю, снявшему цепи с народа. Для него петербургский император, сын Николая, лейб-гвардии офицер, терялся в какой-то мифически великой фигуре *земского царя*. Словом освобождения царь искупил в глазах Мартьянова все прошлые и будущие грехи свои. И мы убеждены, что Мартьянов, идущий в цепях в Сибирь, давно простил *несчастливого*, утвердившего приговор десятка Гурьевых, обрадовавшихся случаю в нем отомстить за освобождение.

Вина Мартьянова состояла в его письме (мы его перепечатаем в следующем листе, пусть забывшие его проверят, читая, наши слова) к своему земскому царю. Он писал к нему с любовью, с доверием, он хотел, чтоб оно явилось в «Колоколе» с его подписью. Он не думал скрываться, потому что не верил, что царь может его наказать за открытое слово, за любовь. Он предполагал у них обоих *один* интерес; он ему говорил о скорбях дома, как сын отцу... Бедный Мартьянов!

Мартьянов скоро устал на чужбине и, натура цельная и фанатическая, пошел домой. В его возвращении было столько простоты, мужества, доверия, скажем не обинуясь — столько трогательного величия, что действительно надобно не иметь следа человеческого сердца, чтоб его послать на каторгу. Все оставляли Мартьянова, он не послушался. Он не верил, что откровенное слово, обращенное к представителю народной правды и народной боли, может быть наказано хуже воровства...

Пять тяжелых лет научат его не смешивать *идеального земского царя* с тем, который живет в 1 Адмиралтейской части.

Мы не делили мнений Мартянова, но глубоко уважали и строгую, безбоязненную последовательность, и восторженную веру, и то *что-то*, что его делало *таким русским*, близким по крови, несмотря на разнь мысли. Ему мы прощали даже гордый, исключительный национализм, с которым он оставлял в прошедшем году Англию. А земский царь не простил ему его любовь, его веру... Рабы бессловесные нужны этим земским монголам, солдаты, молчащие во фрунте, нужны этим немецким кейзерам.

...Но если мы от всей души отпускаем Мартянову его фантазию преображенного царя, то спешим заявить, что и наша амнистия имеет свои границы и что под сказанное нами вовсе не подходят *новые проповедники русско-царской демократии*, особенно уж потому, что они за свои фантазии идут не в каторжную работу, а вверх по службе.

В самый разгар польского вопроса у нас укоренилось в обществе и журналистике мнение совершенно ложное, сбивающее все понятия, парализующее всякую деятельность, бездушное в отношении к Польше и лицемерное в отношении к России. Взгляд этот, одна из выродившихся отраслей славянофильства, состоит в том, чтоб принимать *цели за достигнутое, зародыши — за совершенных людей, идеалы — за существующее и задачи — за их решения*.

Помнит ли кто-нибудь старую барыню, описанную Диккенсом *, у которой был тик, немного смахивающий на помешательство? Она ждала, что ее племянница родит *дочь*, которую она будет воспитывать, а племянница родила *сына*. Старая барыня сначала приняла это за личность, обиделась, разбранила мать, доктора, служанку; но потом сама поправила дело, *предполагая*, что несуществующая девочка существует и наделяя ее всеми достоинствами своей фантазии.

То, что может быть очень мило в пятнадцатилетней институтке, мечтающей о счастье пастушков, живущих цветочками, и бабочек, порхающих по ним, и очень достолюбезно — как говаривали во время оно — в старой тетке Копперфилда, вовсе не мило и не достолюбезно в публицистах, делающих из этих фантазмагорий полицейские кистени против Польши.

Схвативши там-сям какие-то неясные понятия о социальном призвании России, об отсутствии в ней крепкого аристократического начала, наши милейшие мечтатели проповедуют, что Россия представляет какую-то демократическую империю, какое-то царство *равенства* и масс, что она борется с Польшей во имя крестьянской свободы против помещиков и пр.

Не ошибайтесь — они говорят не о той России, которая составляет цель наших стремлений, к которой все двигается и идет, но до которой ничего еще не дошло, а об России настоящей, чиновничьей, казарменной, петербургской, аракчеевской, николаевской, муравьевской.

Да где же жили все эти институтки с бородами или давно ли же они родились, что не видали ни крепостного состояния, ни помещичьего житья, ни положения солдат, ни вельможничества, ни начальнического *ты*, ни засеченных дворовых, ни изнасилованных женщин? Как это у них память так коротка? состраданье, негодование так коротко?

Человек едет где-нибудь в Ковенской, Минской губернии, сердце у него сжимается, слезы готовы брызнуть при виде бедных, покосившихся лачуг возле пышных панских палат *... И мы чувствовали это, только не ездили за этим ни в Ковно, ни в Гродно, а возле Москвы и Петербурга. Или они так прямо из Смольного монастыря да и по казенной надобности в Ковно?

Это отвратительнейшая демагогия, под которой скрывается не только ложь, но и вызов на восстание, одобренный высшим начальством и демократическим шефом жандармского братства.

Мы верим и верили всю жизнь в великую будущность русского народа, видим в нем стихии широкого социального развития (мы не говорим демократического, потому что для нас это слово неясно), мы чувствуем не меньше севернопчельских Бабёфов и «дневных» Гракхов *, как вся эта скорлупа, короста, паршивость дворянского чиновничества, немецкого бюрократизма, доктринаризма, экзерциргаулизма и пр. остается на поверхности, не идет в глубь; но чувствуем, с другой стороны, что за гнет, что за гниль, что за боль она производит на всем теле и что за помеху делает всякому внутреннему развитию. Не преступление ли уверять тяжело больного, что он здоров?

Говорить человеку, которого дуют палками, что это только поверхностно и что, в сущности, он вольнее своего соседа,— последняя степень презрения к нему и к истине.

Между Россией, едва отирающей кровавый пот свой, Россией «Положений» и Россией *золотой воли, воли вольной*, есть еще Россия гербовой бумаги, русских немцев, военных и штатских генералов, сенаторов, приговаривающих за честную речь к каторге, и государя, утверждающего их приговоры¹. И она еще постоит за себя!

¹ Вот еще приговор: «4 декабря, в 8¹/₂ часов утра, было публичное объявление на Мытнинской площади в Рождественской части бывшему отставному канцелярскому служителю из дворян Митрофану Муравскому (25 лет) высоч. утвержденного мнения Государ. совета, которым определено: Муравского, виновного в произнесении дерзких оскорбительных слов против священной особы *государя императора* и в приговлении к возбуждению бунта, лишив всех прав состояния, сослать в каторжную работу на заводах на восемь лет и потом поселить в Сибири навсегда».

Очень просим прислать нам подробности дела г. Муравского*.



НАШИМ БИБЛИОГРАФАМ, БИБЛИОФИЛАМ,
ЛЮБИТЕЛЯМ СБОРНИКОВ
И ИСТОРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ И ПР.

Мы обращаем внимание гг. библиофилов на легкое теперь собрание всех документов, служащих к иллюстрации *эпохи подлости*, через которую проходит русское общество. Пусть будущее поколение узнает имена людей, посылавших адреса палачам; людей, подписывавшихся на сооружение иконы, храма во имя несчастного Архистратига Михаила ... * Пусть *дети* узнают статьи *отцов*... пусть новая хрестоматия соберет в один букет все, что наша *отхожая* журналистика публиковала за 1863 год или, еще лучше, с знаменитого пожара в Петербурге *, по которому не найдено ни одного зажигателя. — и столько *шпионов-литераторов*.

Года через два, три это будет трудно сделать; а нужно ли говорить о серьезной важности закрепить для будущего эти *послужные списки* раболепия и подлости.

